

Посвящается Боре

Луковая роза

1

Невероятному, опасному, в чем-то даже героическому путешествию Желтухина Пятого из Парижа в Лондон в дорожной медной клетке предшествовали несколько бурных дней любви, перебранок, допросов, любви, выпытываний, воплей, рыданий, любви, отчаяния и даже одной драки (после неистовой любви) по адресу рю Обрио, четыре.

Драка не драка, но сине-золотой чашкой севрского фарфора (два ангелочка смотрятся в зеркальный овал) она в него запустила, и попала, и ссадила скулу.

— Елы-палы... — изумленно разглядывая в зеркале ванной свое лицо, бормотал Леон. — Ты же... Ты мне физиономию расквасила! У меня в среду ланч с продюсером канала *Mezzo*...

А она и сама испугалась, налетела, обхватила его голову, припала щекой к его ободранной щеке.

— Я уеду, — выдохнула в отчаянии. — Ничего не получается!

8 У нее, у Айти, не получалось главное: вскрыть его, как консервную банку, и извлечь ответы на все категорические вопросы, которые задавала, как умела, — упреков неумолимый взгляд в сердцевину его губ.

В день своего ослепительного явления на пороге его парижской квартиры, едва он разомкнул наконец обруч истосковавшихся рук, она развернулась и ляпнула наотмашь:

— Леон! Ты бандит?

И брови дрожали, взлетали, кружили перед его изумленно поднятыми бровями. Он засмеялся, ответил с прекрасной легкостью:

— Конечно, бандит.

Снова потянулся обнять, но не тут-то было. Эта крошка приехала воевать.

— Бандит, бандит, — твердила горестно, — я все обдумала и поняла, знаю я эти замашки...

— Ты сдурела? — потряхивая ее за плечи, спрашивал он. — Какие еще замашки?

— Ты странный, опасный, на острове чуть меня не убил. У тебя нет ни мобильного, ни электронки, ты не терпишь своих фотографий, кроме афишной, где ты — как радостный обмылок. У тебя походка, будто ты убил триста человек... — И встрепенувшись, с запоздалым воплем: — Ты затолкал меня в шкаф!!!

Да. В кладовку на балконе он ее действительно затолкал, — когда Исадора явилась наконец за указаниями, чем кормить Желтухина. От растерянности спрятавшись, не сразу сообразив, как объяснить консьержке мизансцену с полураздетой гостьей в прихожей, верхом на дорожной сумке... Да и в кладовке этой чертовой она отсидела ровно три минуты, пока он судорожно объяснялся с Исадорой: «Спасибо, что не забыли,

моя радость, — (пальцы путаются в петлях рубашки, подозрительно выпущенной из брюк), — однако получается, что уже... э-э... никто никуда не едет».

И все же вывалил он на следующее утро Исадоре *всю правду!* Ну, положим, не всю; положим, в холл он спустился (в тапках на босу ногу) затем, чтобы отменить ее еженедельную уборку. И когда лишь рот открыл (как в песне блатной: «Ко мне нагрянула кухня из Одессы»), сама «кухня», в его рубахе на голое тело, едва прикрывавшей... да ни черта не прикрывавшей! — вылетела из квартиры, сверзилась по лестнице, как школьник на переменке, и стояла-перетаптывалась на нижней ступени, требовательно уставясь на обоих. Леон вздохнул, расплылся в улыбке блаженного крестина, развел руками и сказал:

— Исадора... это моя любовь.

И та уважительно и сердечно отозвалась:

— Поздравляю, месье Леон! — словно перед ней стояли не два обезумевших кролика, а почтенный свадебный кортеж.

На второй день они хотя бы оделись, отворили ставни, заправили измученную тахту, сожрали подчистую все, что оставалось в холодильнике, даже полузасохшие маслины, и вопреки всему, что диктовали ему чутье, здравый смысл и *профессия*, Леон позволил Айе (после грандиозного скандала, когда уже заправленная тахта вновь взывала всеми своими пружинами, принимая и принимая неустанный сиамский груз) выйти с ним в продуктовую лавку.

Они шли, шатаясь от слабости и обморочного счастья, в солнечной дымке ранней весны, в путанице узорных теней от ветвей платанов, и даже этот мягкий свет казался слишком ярким после суток любовного

10 заточения в темной комнате с отключенным телефоном. Если бы сейчас некий беспощадный враг вознамерился растащить их в разные стороны, сил на сопротивление у них было бы не больше, чем у двух гусениц.

Темно-красный фасад кабаре «Точка с запятой», оптика, магазин головных уборов с болванками голов в витрине (одна — с нахлобученной ушанкой, приплывшей сюда из какого-нибудь Воронежа), парикмахерская, аптека, мини-маркет, сплошь обклеенный плакатами о распродажах, brassерия с головастыми газовыми обогревателями над рядами пластиковых столиков, выставленных на тротуар, — все казалось Леону странным, забавным, даже диковатым — короче, абсолютно иным, чем пару дней назад.

Тяжелый пакет с продуктами он нес в одной руке, другой цепко, как ребенка в толпе, держал Айю за руку, и перехватывал, и гладил ладонью ее ладонь, перебирая пальцы и уже тоскуя по *другим, тайным* прикосновениям ее рук, не чая добраться до дома, куда плестись предстояло еще черт знает сколько — минут восемь!

Сейчас он бессильно отметал вопросы, резоны и опасения, что наваливались со всех сторон, каждую минуту предъявляя какой-нибудь новый аргумент (с какой это стати его оставили в покое? Не пасут ли его на всякий случай — как тогда, в аэропорту Краби, — справедливо полагая, что он может вывести их на Айю?).

Ну не мог он без всяких объяснений запереть *прилетевшую птицу* в четырех стенах, поместить в капсулу, наспех слепленную (как ласточки слюной лепят гнезда) его подозрительной и опасливой любовью.

Ему так хотелось прогулять ее по ночному Парижу, вытащить в ресторан, привести в театр, наглядно показав самый расчудесный спектакль: постепенное пре-

ображение артиста с помощью грима, парика и костюма. Хотелось, чтоб и ее пленил уют любимой гримерки: неповторимая, обворожительная смесь спертых запахов пудры, дезодоранта, нагретых ламп, старой пыли и свежих цветов.

Он мечтал закатиться с ней куда-нибудь на целый день — хотя бы и в Парк импрессионистов, с вензелистым золотом его чугунных ворот, с тихим озером и грустным замком, с картинным пазлом его цветников и кружевных партеров, с его матерыми дубами и каштанами, с плюшевыми куколями выстриженных кипарисов. Запастись бутербродами и устроить пикник в псевдояпонской беседке над водоемом, под картавый лягушачий треп, под треск оголтелых сорок, любуясь плавным ходом невозмутимых селезней с их драгоценными, изумрудно-сапфировыми головками...

Но пока Леон не выяснил намерений *друзей из конторы*, разумнее всего было если не смыться из Парижа куда подальше, то, по крайней мере, отсидеться за дверьми с надежными замками.

Что там говорить о вылазках на природу, если на ничтожно малом отрезке пути между домом и продуктовой лавкой Леон беспрестанно озирался, резко останавливаясь и застревая перед витринами.

Вот тут он и обнаружил, что одетой фигуре Айи чего-то недостает. И понял: фотоаппарата! Его и в сумке не было. Ни «специально обученного рюкзака», ни кофра с камерой, ни этих устрашающих объективов, которые она называла «линзами».

— А где же твой *Canon*? — спросил он.

Она легко ответила:

— Продала. Надо ж было как-то к тебе добраться... Башли твои у меня тю-тю, спёрли.

12 — Как — сперли? — Леон напрягся.

Она махнула рукой:

— Да так. Один наркуша несчастный. Спер, пока я спала. Я его, конечно, отметелила — потом, когда в себя пришла. Но он уже все спустил до копейки...

Леон выслушал эту новость с недоумением и подозрением, с внезапной дикой ревностью, ударившей набатом в сердце: какой такой *наркуша*? как мог *спереть* деньги, когда она спала? в какой ночлежке оказался так вовремя рядом? и насколько же это *рядом*? или не в ночлежке? или не *наркуша*?

Мельком благодарно отметил: хорошо, что Владка с детства приучила его смиренно выслушивать любовью невероятный бред. И спохватился: да, но ведь *эта* особа врать не умеет...

Нет. Не сейчас. Не вспугни ее... Никаких допросов, ни слова, ни намек на подозрительность. Никакого повода к серьезной стычке. Она и так искрит от каждого слова — рот открыть боязно.

Свободной рукой обнял ее за плечи, притянул к себе и сказал:

— Купим другую. — И, поколебавшись: — Чуть позже.

Честно говоря, отсутствие такой весомой приметы, как фотоаппарат, с угрожающими хоботами тяжелых линз-объективов, сильно облегчало их передвижения: перелеты, переезды... исчезновения. Так что Леон не торопился восполнить потерю.

Но скрывать Айю, неуправляемую, издалека заметную, не открывшись перед ней хотя бы в каких-то разумных (и в каких же?) пределах... задача была не из легких. Не мог же он, в самом деле, запирать ее в кладовке на время своих отлучек!

Он ужом вертелся: понимаешь, детка, не стоит тебе одной выходить из дома, здесь не очень спокойный

район, много шляется разной сволоты — сумасшедшие, маньяки, полно каких-то извращенцев. Никогда не знаешь, на кого наткнешься...

Глупости, хмыкала она, — центр Парижа! Вот на острове, там да: один сумасшедший извращенец заманил меня в лес и чуть не задушил. Вот там было о-о-очень страшно!

— Ну хорошо. А если я просто тебя попрошу? Пока без объяснений.

— Знаешь, когда наша бабушка не хотела что-то объяснять, она кричала папе: «Помолчи!» — и он как-то сникал, не хотел старуху огорчать, он же деликатный.

— В отличие от тебя.

— Ага, я совсем не деликатная!

Слава богу, она хотя бы к телефону не подходила. Звонки Джерри Леон игнорировал и однажды просто не открыл ему дверь. Филиппа водил за нос и держал на расстоянии, дважды отклонив приглашение поужинать вместе. Две ближайшие репетиции с Робертом отменил, сославшись на простуду (вздыхал в трубку бесстыжим голосом: «Я ужасно болен, Роберт, ужасно! Перенесем репетицию на... да я сам позвоню, когда приду в себя», — и, похоже, небу следовало упасть на землю, чтобы он *пришел в себя*).

Ну, а дальше, как дальше-то быть? И сколько они смогут так отсиживаться — звери, обложенные опасным счастьем? Не может же она торчать с утра до вечера в квартире, как Желтухин Пятый в клетке, вылетая погулять под присмотром Леона по трем окрестным улочкам. Как объяснишь ей, не раскрываясь, странное сопряжение его светской артистической жизни с привычной, на уровне инстинкта, конспирацией? Какими отмеренными в гомеопатических дозах словами

14 рассказать про *контору*, где целая армия специалистов считает недели и дни до часа икс в неизвестной бухте? Как, наконец, не потревожив и не вспугнув, нащупать бикфордов шнур в тайный мир ее собственных страхов и нескончаемого бегства?

И вновь накатывало: насколько, в сущности, они беззащитны оба — два беспризорника в хищном мире всесветной и разнонаправленной охоты...

* * *

— Мы поедем в Бургундию, — объявил Леон, когда они вернулись домой после первой хозяйственной вылазки с чувством, что совершили кругосветное путешествие. — В Бургундию поедем, к Филиппу. Вот отпою спектакль тринадцатого, и... да, и четырнадцатого запись на радио... — Вспомнил и простонал: — О-о-о, еще ведь концерт в Кембридже, да... Но потом! — увлекаящим и бодрым тоном: — Потом мы обязательно уедем на пять дней к Филиппу. Там леса, косули-зайцы... камин и Франсуаза. Ты влюбишься в Бургундию!

За туманную кромку этих пяти дней боялся заглядывать, ничего не соображал.

Он вообще сейчас не мог соображать: все внимание его, все нервы, все несчастные интеллектуальные усилия были направлены на то, чтобы ежесекундно держать круговую оборону против своей возлюбленной: вот уж кто не заботился о подборе слов, кто забрасывал его вопросами, не спуская требовательных глаз с его лица.

— А как ты узнал наш адрес в Алма-Ате?

— Ну-у... Ты же его называла.

— Врешь!

— Да это простейшая задача справочной службы, клещ ты мой ненаглядный!

Как-то выходило, что ни на один ее вопрос он не мог дать правдивого ответа. Как-то получалось, что вся его крученая-верченая, как поросячий хвост, проклятая жизнь была вплетена в замысловатый ковровый узор не только личных тайн, но и совершенно закрытых сведений и кусков биографий — и своей, и чужих, — на изложение которых, даже просто на намек он права не имел. Его Иерусалим, его отрочество и юность, его солдатская честная и другая, тайная, рискованная, а порой и преступная по меркам закона жизнь, его блаженно растворенный в глотке, гортанно перебирающий связки *запретный* иврит, его любимый *богатый* арабский (который он иногда прогуливал, как пса на поводке, в какой-нибудь парижской мечети или в культурном центре где-нибудь в Рюзе) — весь огромный материк его прошлого был затоплен между ним и Айей, как Атлантида, и больше всего Леон боялся момента, когда, отхлынув естественным отливом, их утоленная телесная жажда оставит на песке следы их беззащитно обнаженных жизней — причину и повод задуматься друг над другом.

Пока спасало лишь то, что квартирка на рю Обрио была до краев заполнена подлинным и насущным сегодняшним днем: его работой, его страстью, его Музыкой, которую — увы! — Айя не могла ни прочувствовать, ни разделить.

С осторожным и несколько отчужденным интересом она просматривала на «Ютьюбе» отрывки из оперных спектаклей с участием Леона. Выбеленные гримом персонажи в тогах, кафтанах, современных

16 костюмах или мундирах разных армий и эпох (загадочный выплеск режиссерского замысла) неестественно широко разевали рты и подолгу так застре-вали в кадре, с идиотским изумлением в округленных губах. Их чулки с подвязками, ботфорты и бальные тапочки, пышные парики и разнообразные головные уборы, от широкополых шляп и цилиндров до военных касок и тропических шлемов, своей неестественной натужностью просто приводили в оторопь нормального человека. Аяя вскрикивала и хохотала, когда Леон появлялся в женской роли, в costume эпохи барокко: загримированный, в пудренном парике, с кокетливой черной мушкой на щеке, в платье с фижмами и декольте, обнажавшем слишком рельефные для женского образа плечи («Ты что, лифчик надевал для этого костюма?» «Ну-у... пришлось, да». «Ватой набивал?» «Зачем, для этого есть специальные приспособления». «Ха! Бред какой-то!» «Не бред, а театр! А твои “рассказы” — они что, не театр?»).

Она старательно пролистала пачку афиш, висящих за дверью в спальне, — по ним можно было изучать географию его передвижений в последние годы; склонив голову к плечу, тихо трогала клавиши «стейнвея»; заставила Леона что-то пропеть, напряженно следя за артикуляцией губ, то и дело вскакивая и припадая ухом к его груди, будто стетоскоп прикладывала. Задумчиво попросила:

— А теперь — «Стаканчики граненые»...

И когда он умолк и обнял ее, покачивая и не отпуская, долго молчала. Наконец спокойно проговорила:

— Только если всегда сидеть у тебя на спине. Вот если бы ты басом пел, тогда есть шанс услышать... как бы издалека, очень издалека... Я еще в наушниках по-пробую, потом, ладно?

А что — потом? И — когда, собственно?

Она и сама оказалась отменным конспиратором: ни слова о главном. Как он ни заводил осторожных разговоров о ее лондонской жизни (подступался исподволь, в образе ревнивого любовника, и видит бог, не слишком притворялся), всегда замыкалась, сводила к пустякам, к каким-нибудь забавным случаям, к историям, произошедшим с нею самой или с ее безалаберными друзьями: «Представляешь, и этот детина, размахивая пистолетом, рывкает: живо ложись на землю и гони *мани!* А Фил стоит как дурак с гамбургером в руках, трясется, но жалко же бросить, только что купил горячий, жрать охота! Тогда он говорит: “А вы не могли бы поддержать мой ужин, пока я достану портмоне?” И что ты думаешь? Громила осторожно берет у него пакет и терпеливо ждет, пока Фил рыщет по карманам в поисках кошелька. А напоследок оставляет ему пару фунтов на проезд! Фил всё потом изумлялся — какой гуманный попался гангстер, прямо не бандит, а благотворитель: и от гамбургера ни разу не отхарчил, и дорогу до дому профинансировал...»

Леон даже засомневался: может, в *конторе* ошиблись — вряд ли она бы выжила, если б кто-то из *профессионалов* поставил перед собой цель ее уничтожить.

Но что правда, то правда: была она чертовски чувствительна; мгновенно реагировала на любое изменение темы и ситуации. Про себя он восхищался: как это у нее получается? Ведь ни интонации не слышит, ни высоты и силы голоса. Неужели только ритм движения губ, только смена выражений в лице, только жесты дают ей столь подробную и глубокую психологическую картину момента? Тогда это просто детектор лжи какой-то, а не женщина!

— У тебя меняется осанка, — заметила она в один из этих дней, — пластика тела меняется, когда звонит телефон. Ты подбираешься к нему, будто выстрела

18 ждешь. А в окно смотришь из-за занавеси. Почему? Тебе угрожают?

— Именно, — отозвался он с глуповатым смешком. — Мне угрожают еще одним благотворительным концертом...

Он шутил, отбрехивался, гонялся за ней по комнате, чтобы схватить, скрутить, обцеловать...

Два раза решился на безумие — выводил ее погулять в Люксембургский сад, и был натянут как тетива, и всю дорогу молчал — и Айя молчала, будто чувствовала его напряжение. Приятная вышла прогулочка...

День ото дня между ними вырастала стена, которую строили оба; с каждым осторожным словом, с каждым уклончивым взглядом эта стена становилась все выше и рано или поздно просто заслонила бы их друг от друга.

* * *

Через неделю, вернувшись после концерта — с цветами и сладостями из полуночного курдского магазина на рю де ля Рокетт, — Леон обнаружил, что Айя исчезла. Дом был пуст и бездыханен — уж Леонов-то гениальный слух мгновенно прошупывал до последней пылинки любое помещение.

Несколько мгновений он стоял в прихожей, не раздеваясь, еще не веря, еще надеясь (пулеметная лента мыслей, и ни одной толковой, и все тот же ноющий в «поддыхе» ужас, будто ребенка в толпе потерял; мало — потерял, так его, этого ребенка, и не докричишься — не услышит).

Он заметался по квартире — с букетом и коробкой в руках. Первым делом, вопреки здравому смыслу и собственному слуху, заглянул под тахту, как в детстве, дурацки надеясь на шутку — вдруг она там спряталась-

замерла, чтобы его напугать. Затем обыскал все видимые поверхности на предмет оставленной записки.

Распахнул дверцы кладовки на балконе, дважды возвращался в ванную, машинально заглядывая в душевую кабину — словно Айя могла вдруг материализоваться там из воздуха. Наконец, бросив на стиральной машине букет и коробку с булочками (просто чтобы дать свободу рукам, готовым смять, ударить, отшвырнуть, скрутить и убить любого, кто окажется на пути), выскочил на улицу как был — в смокинге, в бабочке, в накинutom, но не застегнутом плаще. Презирая себя, умирая от отчаяния, беззвучно повторяя себе, что у него наверняка уже и голос пропал *на нервной почке* («и черт с ним, и поздравляю — недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!»), минут сорок он болтался по округе, отлично сознавая, что все эти жалкие метания бессмысленны и нелепы.

На улицах и в переулках квартала Марэ уже пробудилась и заворочалась еженощная богемная жизнь: мигали лампочки над входом в бары и пабы, из открытых дверей выпархивали струйки блюза или утробная икота рока, за углом по чьей-то пухлой кожаной спине молотили кулачки и, хихикая и всхлипывая, изнутри этого кентавра кто-то выкрикивал ругательства...

Леон заглядывал во все подвернувшиеся заведения, спускался в полуподвалы, обшаривал взглядом столы, ошупывал фигуры-спины-профили на высоких табуретах у стоек баров, топтался у дверей в дамские комнаты в ожидании — не выйдет ли она. И очень зримо представлял ее под руку с кем-нибудь из этих... из вот таких...

В конце концов вернулся домой в надежде, что она слегка заблудилась, но рано или поздно... И вновь угодил в убийственную тишину со спящим «стейнвеем».

На кухне он выхлестал одну за другой три чашки холодной воды, не думая, что это вредно для горла, тут